





ИЗ БИОГРАФИИ

Я родился в 1915 году в Петрограде, а детство провел в Рязани и Саратове. Моя мать работала то машинисткой, то делопроизводителем, а отчим, в прошлом участник японской и германской войн, был преподавателем тактики в военном училище.

Наша семья жила в командирских общежитиях. Военный быт окружал меня, соседями были тоже военные, да и сама жизнь училища проходила на моих глазах. За окнами, на плацу, производились утренние и вечерние поверки. Мать участвовала вместе с другими командирскими женами в разных комиссиях содействия; приходившие к родителям гости чаще всего вели разговоры о службе, об армии. Два раза в месяц я, вместе с другими ребятами, ходил на продсклад получать командирское довольствие.

Вечерами отчим сидел и готовил схемы к предстоящим занятиям. Иногда я помогал ему. Дисциплина в семье была строгая, чисто военная. Существовал твердый распорядок дня, все делалось по часам, в ноль-ноль, опаздывать было нельзя, возражать не полагалось, данное кому бы то ни было слово требовалось держать, всякая, даже самая маленькая лож презиралась.

Так как и отец, и мать были люди служащие, в доме существовало разделение труда. Лет с шести-семи на меня были возложены посильные, постепенно возрастающие обязанности. Я вытирал пыль, мел пол, помогал мыть посуду, чистил картошку, следил за керосинкой, если мать не успевала — ходил за хлебом и молоком. Времени, когда за меня стелили постель или помогали мне одеваться, — не помню.

Атмосфера нашего дома и атмосфера военной части, где служил отец, породили во мне привязанность к армии и вообще ко всему военному, привязанность, соединенную с уважением. Это детское, не вполне осознанное чувство, как потом оказалось на поверку, вошло в плоть и кровь.

Весной 1930 года, окончив в Саратове семилетку, я вместо восьмого класса пошел в фабзавуч учиться на токаря. Решение принял единолично, родители его поначалу не особенно одобряли, но отчим, как всегда сурово, сказал: «Пусть делает, как решил, его дело!»

Мы жили туго, в обрез, и тридцать семь рублей в получку, которые я стал приносить на второй год фабзавуча, были существенным вкладом в наш семейный бюджет.

Поздней осенью 1931 года я вместе с родителями переехал в Москву и весной 1932 года, окончив фабзавуч точной механики и получив специальность токаря 4-го разряда, пошел работать на авиационный завод, а потом в механический цех кинофабрики «Межрабпомфильм».

Руки у меня были отнюдь не золотые, и мастерство давалось с великим трудом; однако постепенно дело пошло на лад, и через несколько лет я уже работал по седьмому разряду.

В эти же годы я стал понемногу писать стихи. Мне случайно попалась книжка сонетов французского поэта Эридия «Трофеи» в переводе Глушкова-Олерона. Затрудняюсь объяснить теперь, поче-

му эти холодновато-красивые стихи произвели на меня тогда настолько сильное впечатление, что я написал в подражание им целую тетрадку собственных сонетов. Но, видимо, именно они побудили меня к первым пробам пера. Вскоре, после того как я одним духом одолел всего Маяковского, родилось мое новое детище — поэма в виде длиннейшего разговора с памятником Пушкину. Вслед за ней я довольно быстро сочинил другую поэму из времен гражданской войны и постепенно прирастал к сочинению стихов, — иногда они получались звучные, но в большинстве были подражательные. Стихи нравились моим родным и товарищам по работе, но я сам не придавал им серьезного значения.

Осенью 1933 года под влиянием статей о Беломорстрое, которыми тогда были полны все газеты, я написал длинную поэму под названием «Беломорканал». В громком чтении она произвела впечатление на слушателей. Кто-то посоветовал мне сходить с ней в литературную консультацию — а вдруг возьмут и напечатают?

Не особенно в это веря, я, однако, не удержался от соблазна и пошел на Большой Черкасский

переулок, где на четвертом этаже, в тесной, заставленной столами комнате помещалась литературная консультация Гослитиздата.

Я пришел вовремя — литконсультация Гослитиздата выпускала очередной, второй сборник молодых авторов под названием «Смотр сил».

Прочитав мое творение, консультант С. Ю. Коляджин сказал, что я не лишен способностей, но предстоит еще много работы. И я стал работать: в течение полугода чуть ли не каждые две недели заново переписывал поэму и приносил ее Коляджину, а он вновь заставлял переделывать. Наконец весной, решив, что мы оба совершили с поэмой все, что могли, Коляджин понес ее Василию Васильевичу Казину, который редактировал в Гослитиздате поэзию. Казин тоже признал мои способности, но поэму как таковую отверг, сказав, что из нее можно выбрать лишь отдельные удачные места, или, как он выразился, фрагменты. И вот эти-то фрагменты, после того как я над ними еще поработаю, наверно, можно будет включить в сборник «Смотр сил».

Всю весну и начало лета каждый день, приходя с работы, я допоздна сидел и корпел над фраг-

ментами. И когда я вконец изнемог под грузом поправок, Казин, казавшийся мне очень строгим человеком, вдруг сказал: «Ладно, теперь можно — в набор!» Сборник «Смотр сил» ушел в типографию. Оставалось ждать его выхода.

Летом, получив отпуск, я решил поехать на Беломорканал, чтобы увидеть своими глазами то, о чем писал стихи, пользуясь чужими газетными статьями. Когда я робко заговорил об этом в консультации Гослитиздата, меня неожиданно поддержали не только морально, но и материально. В секторе культмассовой работы нашлись деньги для этой поездки, и через несколько дней, получив триста рублей и добавив их к своим отпускным, я поехал в Медвежью Гору, где помещалось управление так называемого Белбалтлага, занимавшегося достройкой ряда сооружений канала. В кармане у меня лежала справка, в которой значилось, что Симонов К. М. — молодой поэт с производства — направляется для сбора материала о Беломорканале и что культмассовый сектор Гослитиздата просит оказать означенному поэту всяческое содействие.

На Беломорканале я пробыл месяц. Большую

часть времени жил на одном из лагерных пунктов неподалеку от Медвежьей Горы. Мне было девятнадцать лет, и в том бараке, где я пристроился в камерке лагерного воспитателя (тоже, как и все остальные, заключенного), никто, конечно, не принимал меня всерьез за писателя. Персона моя никого не интересовала и не стесняла, и поэтому люди оставались сами собой. Когда я рассказывал о себе и о том, что хочу написать поэму про Беломорканал (а я действительно хотел написать вместо прежней новую), к этому относились с юмором и сочувствием, хлопали по плечу, одобряли — «Давай пробивайся».

Вернувшись в Москву, я написал эту новую поэму. Называлась она «Горизонт», стихи были по-прежнему неудобоваримыми, но за ними стояло уже реальное содержание — то, что я видел и знал. В консультации мне посоветовали пойти учиться в открывшийся недавно, по инициативе А. М. Горького, Вечерний рабочий литературный университет и даже написали рекомендацию.

В начале сентября 1934 года, сдав приемные испытания, я нашел свою фамилию в длинном

списке принятых, вывешенном в коридорах знаменитого «Дома Герцена».

Учиться первые полтора года было трудно; я продолжал работать токарем, сначала в «Межрабпомфильме», а потом на кинофабрике «Техфильм». Жил я далеко, за Семеновской заставой, работал на Ленинградском шоссе, вечерами бежал на лекции, а по ночам продолжал писать и переписывать свою поэму о Беломорканале, которая чем дальше, тем казалась длиннее. Времени на сон практически не оставалось, а тут еще выяснилось, что я гораздо меньше начитан, чем мне это казалось раньше. Пришлось, в срочном порядке, громадными порциями глотать литературу.

На втором курсе стало ясно, что делать сразу три дела — работать, учиться и писать — я больше не могу. Мне скрепя сердце пришлось оставить работу и перебиваться случайными заработками, потому что стипендий нам не давали, а стихов моих еще не печатали.

Вспоминая свои молодые годы, не могу не упомянуть о моих руководителях в поэтическом семинаре Литературного института Илье Дукоре и Леониде Ивановиче Тимофееве, и моих поэти-

ческих наставниках тех лет, Владимире Луговском и Павле Антокольском, сыгравших немалую роль в моей писательской судьбе. К этим людям я до сих пор испытываю огромную благодарность.

В 1936 году в журналах «Молодая гвардия» и «Октябрь» были напечатаны мои первые стихи, а в 1938 году под названием «Павел Черный» наконец вышла из печати, отдельной книжкой, та самая поэма о Беломорканале, с первым вариантом которой я пять лет назад обратился в литконсультацию. Своим выходом в свет она не принесла мне радости, но — пока я ее писал и переписывал — научила меня работать.

Однако не публикация стихов и не выход моей первой книжки стали для меня той ступенью, шагнув на которую я почувствовал, что становлюсь поэтом. Это чувство точно и определенно связано у меня с одним днем и одним стихотворением.

Вскоре после того как газеты напечатали известие о гибели под Уэской в Испании командира Интернациональной бригады генерала Лукача, я вдруг узнал, что легендарный Лукач — это писатель Мате Залка, человек, которого я не раз видел и которого еще год назад запросто встречал то в

трамвае, то на улице. В тот же вечер я сел и написал стихотворение «Генерал».

В нем говорилось о судьбе Мате Залки — генерала Лукача, но внутренне с юношеской прямоотой и горячностью я отвечал сам себе на вопрос — какой должна быть судьба моего поколения в наше революционное время? С кого лепить жизнь?

Да, именно так, как Мате Залка, мне хотелось прожить и свою собственную жизнь. Да, именно за это мне будет не жаль отдать ее!

В стихах «Генерал» хромали рифмы и попадались неуклюжие строчки, но сила чувства, которое было в моей душе, сделала их, как мне кажется, моими первыми настоящими стихами.

Константин Симонов
1978



Начало





Из поэмы
«ПАВЕЛ ЧЕРНЫЙ»

* * *

В начале тридцать второго в Карелию ехал
Черный —
Густо татуирован, жилист, немыт, небрит.
Ехал он из Одессы, с любимого Черного моря
На чортово Белое море. Чорт его побери!
Как раз в арестантском вагоне стукнул ему
тридцатый.
Стократно благополучно бежавшие от погонь,
Были с ним вместе взяты в доску свои ребята,
Прошедшие медные трубы, воду, водку, огонь.
Ехали долго и скучно: пять суток резались в карты;
Сто раз прошли через руки деньги, жратва, табак...

Вагон, как осенняя муха, полз по холодной карте,
И Черному показалось, что дело его — табак!

Если глядеть в окошко: камень, камень и камень,
Снег да кривые сосны, и кругом никого,
Если вцепиться в решетку да потрясти руками,
Услышишь запах железа и проклянешь его.

До теплой Одессы тыщи простуженных километров.
А вор все равно, что птица, серенький соловей, —
Нету теплого дома... Кто виноват, что нету,
От холода и от клетки, от мыслей в своей голове.

Нету теплого дома... Кто виноват, что нету,
Нету у человека печки, тепла, угла?
Нету такого места, чтобы взял ты билеты,
Уехал — и никакая власть тебя не взяла.

Говорят, что у маминой юбки самое теплое место,
Что приятно со старым папкой в поддавки постучать.
Говорят, человек как кошка, любит старое место,
Любит собственных шкетов на руках покачать.

Кто его знает? Ноги шли не на те пороги,
Не пробовал Черный этих приятных и тихих штук.
Выбрать ему не дали. А на любой дороге
У дырявых подметок одинаковый стук.

Как и других — родили, кинули в подворотню.
Дворник нашел под утро. Пошевелил носком.
Видит — живой мальчишка; выживет, будет работник,
Скорей же всего подохнет. И сунул в сиротский дом.

Сиротский дом трехэтажный. В стенах глаза и уши,
Если бывал — так знаешь. Не бывал — не поймешь!
Давал император трешку в год на живую душу.
«Смоешься — станешь вором. Не смоешься —
так помрешь».

И вышла такая привычка: загнут на любом из
следствий:
«Что же это вас толкнуло? Кто папа и мама вам?» —
Встанет Черный и скажет: «Очень приличное детство,
Очень прекрасная мама, а воровал я сам!»

Наутро довел их поезд до самого края свету,
Ссадил и поехал дальше, куда-то в тартарары.
Взглянули на солнце — нету! Взглянули
на звезды — нету!
И нету на белом свете другой подобной дыры.

Кто-то сказал в молчанье: «Зовется город
Сорока...»

И даже те, что успели приговор позабыть,
Тут при помощи пальцев вновь сочтя свои сроки,
Загрустили, что долго придется в Сороке быть.

Они прошли через город без песен и разговоров.
Никто не кидался к окнам, не выбежал встречать:
Мало ли на работу ведут через город воров —
К ним раз навсегда привыкли и бросили замечать.

А если и замечали, то говорили мельком:
«Снова ведут рабсилу...» И, уловив на слух,
Воры, сердясь, считали это название мелким,
Вставал на дыбы их гордый паразитарный дух.

Черный сказал с усмешкой: «Вот оно — Белое море.
Если казенным сладким подавишься калачом,
Если засохнешь с горя, если тоска уморит,
Снегом тебя засыпет, и никто не при чем».

И повернули в поле. Вот бы сейчас самовара!
Хватить бы по два стакана, по третьему наливать.
Идут в шикарных пальтишках девчонки
с Тверского бульвара,
Их еще не успели переобмундировать.

Черный на них смеется, на моды их и фасоны.
Он бы за них копейки ломаной не отдал.
Но их манто и чулочки немного не по сезону.
А это удачный повод, чтоб учинить скандал.

Черный подходит фертom к заднему из конвойных
И задушевым тоном в ухо кричит ему:

«Скидывай полушубок, поносил — и довольно;
Девочкам пригодится, а тебе ни к чему!»

И конвоир внезапно смотрит в упор на вора,
И оба стоят, как рыбы, широко разинув рты.
Черному ясно видно, что это же Васька Ворон,
Одесский уркан. И разом они произносят: «Ты!»

Но тотчас же вспоминают каждый свое назначенье,
И конвоир снимает руку с его плеча.
И Черный бьет его в ухо, отчасти для развлечения,
Отчасти от горькой обиды, а более сторяча.

Но, подоспев, другие Черному крутят руки,
Такие крепкие парни — они медведя сомнут —
И, несмотря на силу и все одесские штуки,
Черный надежно связан в каких-нибудь пять минут.

«Крепко ж вас откормили даровыми пайками!»
Он с уваженьем смотрит на связавших его.
Он для смеха поводит скрученными руками,
Но эти грозные жесты не трогают никого.

Никто на него не смотрит, как будто на целом свете
Только одно глухое похрустыванье шагов.
Колонна идет в молчанье сквозь перекрестный
ветер.

И крыши первых бараков встают посреди снегов.

* * *

В эту минуту Черный, закутанный в полушубок,
Ругаясь, брел по лапункту. Кругом — как в аду темно,
Снег летит, как из пушки. Черный добрел до клуба,
Свернул налево и стукнул в заснеженное окно.

В пристроечке рядом с клубом, в симпатичном
куточке

О два окна с печуркой скоро уж год как жил
Лагерный живописец, Яков Якович Точкин,
С большим котом Еврипидом, с коим оный дружил.

Як Якыч был богомазом, всю жизнь он писал иконы
Возрастом не моложе, чем пятнадцатый век.
Издrevле в Марьиной роще на этом деле исконном
Имел отличную прибыль усидчивый человек.

В доброе старое время все сходило прекрасно,
Як Якыч жил содержимым купеческих кошельков.
Потом купцы испарились, а он яичною краской
Все так же писал Иисусов, апостолов, ангелков.

Но рынок сбыта сужался (музеи — их не обманешь).
Иконы лежали годами... Як Якыч придумал плант,
По коему можно быстро изжить пустоту в кармане
И не оставлять втуне свой природный талант.

Он стал рисовать червонцы: купюры по пять и десять,
Но если за фальшь в иконах бывал в старину он бит,
То нынче за фальшь в червонцах давали по пять
и десять;

Як Якыч влип и поехал осваивать новый быт.

Едва он успел приехать, как Волков его вызывает
И говорит: «Художник? Як Якыч глаголет: «Да».
«Портреты писал с натуры?» Як Якыч ему
называет

Всех святых, что писал он. А портрет — ерунда!

Портрет кто хочешь напишет! Волков, услышав это,
Ему говорит: «Художник, все создам для тебя,
С лучших моих рабочих будешь писать портреты,
С одним условием: чтоб каждый мог узнавать себя».

Дал ему Волков краски, кисти, холст, помещенье,
Достал с большими трудами уголь, масло и мел:
И Як Якыч назавтра с некоторым смущеньем
Первого клиента написал, как умел.

Правда, тот возмутился своим пророкоподобным
И вместе ангельским видом и пробовал говорить,
Что все же он бывший жулик и его неудобно
Писать ангелком, как будто он прошлое хочет
скрыть, —

Як Якыч ему методично ответил по каждому
пункту:

Что повесят, что скоро, что в клубе, что это факт.

И Черный пошел, довольный, в клубный театр
лагпункта,

Где только что все затихло и начался третий акт.

Главный герой на сцене в роль вошел моментально,
Воры с неподдельным чувством играли себя самих.
Автор, как все блатные, немножко сентиментальный,
Умел добраться до сердца таких же, как он, блатных.

Герой, под влияньем любимой бросивший блат
навек,

Работает на заводе, где она секретарь.

Злодей — кулацкий сыночек — крадет бумаги
и чеки,

С расчетом, что бывшего вора заподозрят, как встарь.

Зал обижен за вора, в зале не дышат даже...

Герой, ничего не зная, приводит своих корешков,

Он им рекомендует тотчас же бросить кражи

И, по его примеру, честно встать у станков.

Но герой заподозрен. Приезжает угрозыск.

Герою с его друзьями грозит арест и тюрьма.

Друзья при виде агентов кричат герою с угрозой:
«Ты нас завел в ловушку!» — а в зале сходят с ума.

В зале столпотворенье достигает предела,
Иоська вскочив со стула, кричит герою: «Скажись,
Скажись им, Коля, в чем дело!» И тот говорит,
в чем дело,
И приходит развязка и счастливая жизнь.

В зале вздох облегченья, в зале — за добродетель:
Пускай у слепой фортуны не плутуют весы!
Зал заметно растроган, воры рыдают, как дети,
И нежные девичьи слезы капают на усы.

1933—1937





ДОМ

1

Тяжкий запах добра смешан с вонью эфира.
Мир завешен гардиной, и прочная мгла
От сотворенья мира
Стоит в четырех углах.
Оно создавалось не сразу, надежное здешнее
счастье.

Оно начиналось с дощечки: «Прием с двух до десяти».
Здесь продавалась помощь, рознятая на части:
От висмута — до сальварсана
От целкового — до десяти.
И люди дурно болели, и дом обростал вещами.
Он распухал, как лягушка, опившаяся водой.
Скрипела кровать ночами,

И между обедом и чаем
В новый рояль, скучая,
Стучали по среднему «до».
Так с большими трудами, с помощью провиденья
Была создана симметрия, прочный семейный
квадрат.

Здесь вещи стоили денег
И дети стоили денег,
Не считая моральных затрат.
Над городом грохнула осень, но врач затворил
окошко.

Приделал на дверь четыре давно припасенных замка.
Припрятал столовые ложки,
Котик сменил на кошку
И высморкался без платка.
Он брал за визиты натурой: шубами и часами,
Старыми орденами, воблою и мукой,
Он прятал и ел глазами,
И умные вещи сами
Ластились под рукой.
Он долго жил как властитель,
Он хвастал, что сто миллионов
Войн и переворотов
Дверь не откроют в дом.
Сын станет опорой трона,

А дочь...
Но гадкий утенок,
Чтоб он, не родившись, сдох!
Так часто бывает: в доме,
Пропахшем столетним хламом,
Растет молчаливый ребенок,
Чуждый отцовской лжи.
Девчонка рвалась из дома
И бредила океаном.
Ей племя пыльных диванов
Мешало дышать и жить.
Она подросла и стала девушкой первого сорта.
А мир изменился — грохочут дальние поезда,
Она решила уехать,
Понюхать соленого пота,
Лучше куда угодно,
Чем обратно — сюда!
Отец обругал наше время,
Отец был кряжистым дубом.
Он проклял меня, который дал руку ей, чтоб уйти.
Он даже попробовал спорить,
Но я показал ему зубы.
Он съежился
И пропустил.

Так я с собой на север привез хорошего друга.
Мы спали на жестких досках
И ели неважный хлеб.
Да, жить приходилось туго,
Паршивый, холодный угол.
Но мы сговорились друг с другом,
Что счастье не в барахле.
Она училась работать, молча и спотыкаясь,
Упрямая, как ребенок, пробующий ходить.
Девчонка так исхудала, что, взяв большими руками
Ее, как больную птицу,
Я согривал на груди.
Я начал видеть всю правду,
Да видно, что поздно начал.
Ей с детства кутали шейку,
А здесь мороз и вода,
Я знал, что девчонка плачет,
Но я не видал, как плачет,
А это не значит — плачет,
Раз никто не видал.
Я почернел от горя, когда она умирала.
Я проклял себя, который взял и не уберег.
Эх, если бы смерть как взятку
Мои потроха забрала,

Я б сунул ей взятку в зубы —
Черт с ней, пускай берет!
И вот я стоял, как наследник,
Над худеньким мертвым телом,
Я мог говорить с собою и мог кричать в потолок,
Я мог, наконец, как собака (кому до этого дело?),
Страшно завывать по хозяйке,
Скорчившись под столом...
На память остались вещи.
Но я вещей не боялся.
Кто сиротел — тот знает, как можно с вещами
дружить.

Я ушел из поселка
И долго работал и шлялся,
Каждый по-своему лечит свою захворавшую жизнь.

3

Прошло, наверно, три года, и черт меня дернул
приехать.
Я много страдал, я думал — меня не узнать
в лицо...
И встретился на тротуаре с глухим деревянным
смехом,

С хитрым стуком подметок —
Словом, с ее отцом.
Он постарел и согнулся, но видел еще отлично.
Он встал поперек дороги, и на его лице
Выстроились в порядке все чувства, коим
прилично
Быть в удрученном отце.
Я был благородным жестом введен в его старую
крепость.
Дом разрушался. Глухо, по-старчески били часы.
Дочь его, как живая, глядела с большого
портрета,
На кончике стула, как мертвый,
Сидел единственный сын.
Старик рассуждал о прошлом,
Он где-то выведал даже,
Как плохо мы пили и ели,
Как нам жилось и спалось.
Чем я становился суше,
Тем он умильней и глаже.
И было мне непонятно, что на него нашло.
Тогда я вспомнил про сына:
«Так вот причина радушью!
Пусть я расскажу побольше,
Пусть сын разглядит порок.

— Гляди на него и бойся продать ему свою душу,
Гляди на него и бойся переступить порог!»
И сын молчал и боялся.
Я встал и надвинул шапку.
Девчонка мне улыбалась так, что больно
смотреть.

Я вспомнил ее живую
И сгреб со стены в охапку:
«Довольно!
Какого черта висит здесь ее портрет?»
Только у самой двери
Я поглядел на сына:
И этот унылый заморыш — брат своей сестры?
О, будь в нем хоть капля жизни,
Я б разогнул ему спину.
Я б вывел его из дому
И дверь бы за ним закрыл.
Но дверь наотрез замкнулась.
Дом заскрипел
И замер.
На лестнице пыль и темень, я долго искал огня.
И сверху раздался топот,
И вновь загремели замками.
Нет, я ошибся в мальчишке — он догонял меня!

Сейчас наш поезд трясется
Где-то под Кустанаем...
Мальчишка уснул на полке.
А я вспоминаю отца:
Он скоро умрет от удушья,
И дом четырьмя стенами
Сомкнется и с грохотом рухнет
На труп своего творца.

1935





РАССКАЗ О СПРЯТАННОМ ОРУЖИИ

Им пятый день давали есть
Соленую треску.
Тюремный повар вырезал
Им лучшие куски —
На ужин, завтрак и обед
По жирному куску
Отборной, розовой, насквозь
Просоленной трески.
Начальник клялся, что стократ
Сытнее всех его солдат
Два красных арестанта
В его тюрьме едят.
А если им нужна вода,
То это блажь и ерунда:
Пускай в окно на дождик,
Разиня рот глядят.

Они валялись на полу,
Холодном и пустом.
Две одиночки дали им,
Двоим на всю тюрьму,
Чтоб в одиночестве они
Припомнили о том,
Известном только им двоим
И больше никому...
А чтоб помочь им вспоминать,
Пришлось топтать их и пинать,
По спинам их гуляли
Дубинки и ремни,
К ним возвращалась память, но
Они не вспомнили одно:
Где спрятано оружие —
Не вспомнили они.

Однажды старшего из них
Под вечер взял конвой.
Он шел сквозь двор и жадным ртом
Пытался дождь глотать.
Но мелкий дождик пролетал,
Крутясь над головой,
И пересохший рот не мог
Ни капельки поймать.
Его втолкнули в кабинет.

— Ну как, припомнил или нет? —
Спросил его начальник.
А посреди стола,
Зовя его ответить «да»,
Стояла свежая вода
За ледяною стенкой
Вспотевшего стекла.

Сухие губы облизав,
Он выговорил: — Да,
Я вспомнил. Где-то под землей
Его зарыли мы,
Одно не помню только: где? —
А чертова вода
Над ним смеялась со стола
Начальника тюрьмы.
Начальник, прекратив допрос,
Ему стакан воды поднес
К сухим губам вплотную
И... выплеснул в окно!
— Забыл? Но через пять минут
Сюда другого приведут.
Не ты, так твой товарищ
Припомнит все равно!

Начальник вышел. Арестант
Услышал скрип дверной,
И в дверь ввалился тот, другой,
Оковами звеня.
Со стоном прислонясь к стене
Распухшею спиной,
Он прошептал: — Я не могу...
Они ведь бьют меня...
Я скоро сдамся, и тогда
Язык мой сам подскажет «да»...
Я знаю: в сером доме,
В подвале, в глубине...
— Молчи! — Еще молчу... пока... —
А двери скрипнули слегка,
И в них вошел начальник:
— Ну, кто ж расскажет мне?

И старший арестант шепнул
С усмешкою кривой:
— Черт с ним, с оружием! Все равно
Дела к концу идут.
Я все скажу вам, но пускай
Сначала ваш конвой
Того, другого, уведет:
Он будет лишним тут. —
Солдаты, отодрав с земли

Того, другого, унесли,
Локтями молча тыча
В его кричащий рот.
Тот ничего не понял, но
Кричал и рвался; все равно
Он знал, что снова будут
Бить в ребра и в живот.

— Кричит! — заметил арестант
И, побледнев едва,
За все, что выдаст, попросил
Себе награды три:
Стакан воды сейчас же — раз,
Свободу завтра — два,
И сделать так, чтоб тот, другой,
Молчал об этом — три.
Начальник рассмеялся: — Мы
Его не пустим из тюрьмы.
И, слово кабальеро,
Что завтра к двум часам...

— Нет, я хочу не в два, не в час —
Пускай он замолчит сейчас!
Я на слово не верю, я должен видеть сам. —
Начальник твердою рукой
Придвинул телефон:

— Алло! Сейчас же номер семь
Отправить в карцер, но
Весьма возможно, что бежать
Пытаться будет он...
Тогда стреляйте так, чтоб я
Видал через окно... —
Он с маху бросил трубку: — Ну? —
И арестант побрел к окну
И толстую решетку
Тряхнул одной рукой.
Тюремный двор и гол и пуст,
Торчит какой-то жалкий куст,
А через двор понуро
Плетется тот, другой.

Конвой отстал на пять шагов.
Настала тишина.
Уже винтовки поднялись,
А тот бредет сквозь двор...
Раздался залп. И арестант
Отпрянул от окна:
— Вам про оружие рассказать,
Не правда ли, сеньор?
Мы спрятали его давно.
Мы двое знали, где оно.
Товарищ мог бы выдать
Под пыткой палачу.

Ему, который мог сказать,
Мне удалось язык связать.
Он умер и не скажет.
Я жив, и я молчу!

1936





ГЕНЕРАЛ

Памяти Мате Залки

В горах этой ночью прохладно.
В разведке намаявшись днем,
Он греет холодные руки
Над желтым походным огнем.

В кофейнике кофе клокочет,
Солдаты усталые спят.
Над ним арагонские лавры
Тяжелой листвой шелестят.

И кажется вдруг генералу,
Что это зеленой листвой
Родные венгерские липы
Шумят над его головой.

Давно уж он в Венгрии не был —
С тех пор, как попал на войну,
С тех пор, как он стал коммунистом
В далеком сибирском плену.

Он знал уже грохот тачанок
И дважды был ранен, когда
На запад, к горящей отчизне,
Мадьяр повезли поезда.

Зачем в Будапешт он вернулся?
Чтоб драться за каждую пядь,
Чтоб плакать, чтоб, стиснувши зубы,
Бежать за границу опять?

Он этот приезд не считает,
Он помнит все эти года,
Что должен задолго до смерти
Вернуться домой навсегда.

С тех пор он повсюду воюет:
Он в Гамбурге был под огнем,
В Чапее о нем говорили,
В Хараме слышали о нем.

Давно уж он в Венгрии не был,
Но где бы он ни был — над ним
Венгерское синее небо,
Венгерская почва под ним.

Венгерское красное знамя
Его освящает в бою.
И где б он ни бился — он всюду
За Венгрию бьется свою.

Недавно в Москве говорили,
Я слышал от многих, что он
Осколком немецкой гранаты
В бою под Уэской сражен.

Но я никому не поверю:
Он должен еще воевать,
Он должен в своем Будапеште
До смерти еще побывать.

Пока еще в небе испанском
Германские птицы видны,
Не верьте: ни письма, ни слухи
О смерти его неверны.

Он жив. Он сейчас под Уэской.
Солдаты усталые спят.
Над ним арагонские лавры
Тяжелой листвой шелестят.

И кажется вдруг генералу,
Что это зеленой листвой
Родные венгерские липы
Шумят над его головой.

1937



ОДНОПОЛЧАНЕ

Как будто мы уже в походе,
Военным шагом, как и я,
По многим улицам проходят
Мои ближайшие друзья;

Не те, с которыми зубрили
За партой первые азы,
Не те, с которыми мы брили
Едва заметные усы.

Мы с ними не пивали чая,
Хлеб не делили пополам,
Они, меня не замечая,
Идут по собственным делам.

Но будет день — и по разверстке
В окоп мы рядом попадем,
Поделим хлеб и на завертку
Углы от писем оторвем.

Пустой консервную жестянку
Воды для друга зачерпнем
И запасной его портянкой
Больную ногу подвернем.

Под Кенигсбергом на рассвете
Мы будем ранены вдвоем,
Отбудем месяц в лазарете,
И выживем, и в бой пойдем.

Святая ярость наступленья,
Боев жестокая страда
Завяжут наше поколенья
В железный узел, навсегда.

1938





ИЗГНАННИК

Испанским республиканцам

Нет больше родины. Нет неба, нет земли.
Нет хлеба, нет воды. Все взято.
Земля. Он даже не успел в слезах, в пыли
Припасть к ней пересохшим ртом солдата.

Чужое море билось за кормой,
В чужое небо пену волн швыряя.
Чужие люди ехали «домой»,
Над ухом это слово повторяя.

Он знал язык. Они его жалели вслух
За костыли и за потертый ранец,
А он, к несчастью, не был глух,
Бездомная собака, иностранец.

Он высадился в Лондоне. Семь дней
Искал он комнату. Еще бы!
Ведь он искал чердак, чтоб был бедней
Последней лондонской трущобы.

И наконец нашел. В нем потолки текли,
На плитах пола промокали туфли,
Он на ночь у стены поставил костыли —
Они к утру от сырости разбухли.

Два раза в день спускался он в подвал
И медленно, скрывая нетерпенье,
Ел черствый здешний хлеб и запивал
Вонючим пивом за два пенни.

Он по ночам смотрел на потолок
И удивлялся, ничего не слыша:
Где «юнкеры», где неба черный клок
И звезды сквозь разодранную крышу?

На третий месяц здесь, на чердаке,
Его нашел старик, прибывший с юга;
Старик был в штатском платье, в котелке,
Они едва смогли узнать друг друга.

Старик спешил. Он выложил на стол
Приказ и деньги — это означало,
Что первый час отчаянья прошел,
Пора домой, чтоб все начать сначала.

Но он не может. — Слышишь, не могу! —
Он показал на раненую ногу.
Старик молчал. — Ей-богу, я не лгу,
Я должен отдохнуть еще немного.

Старик молчал. — Еще хоть месяц так,
А там — пускай опять штыки, застенки, мавры. —
Старик с улыбкой расстегнул пиджак
И вынул из кармана ветку лавра.

Три лавровых листка. Кто он такой,
Чтоб забывать на родину дорогу?
Он их смотрел на свет. Он гладил их рукой,
Губами осторожно трогал.

Как он посмел забыть? Три лавровых листка.
Что может быть прочней и проще?
Не все еще потеряно, пока
Там не завяли лавровые рощи.

Он в полночь выехал. Как родина близка,
Как долго пароход идет в тумане...

.....
Когда он был убит, три лавровых листка
Среди бумаг нашли в его кармане.

1939





СТАРИК

Памяти Амундсена

Весь дом пенькой проконопачен прочно,
Как корабельное сухое дно,
И в кабинете — круглое нарочно —
На океан прорублено окно.

Тут все кругом привычное, морское,
Такое, чтобы, вставши на причал,
Свой переход к свирепому покою
Хозяин дома реже замечал.

Он стар. Под старость странствия опасны,
Король ему назначил пенсион,
И с королем на этот раз согласны
Его шофер, кухарка, почтальон.

Следят, чтоб ночью угли не потухли,
И сплетничают разным докторам,
И по утрам подогревают туфли,
И пива не дают по вечерам.

Все подвиги его давно известны,
К бессмертной славе он приговорен,
И ни одной душе не интересно,
Что этой славой недоволен он.

Она не стоит одного ночлега
Под спальным шерстью пахнущим мешком,
Одной щепотки тающего снега,
Одной затяжки крепким табаком.

Ночь напролет камин ревет в столовой,
И, кочергой помешивая в нем,
Хозяин, как орел белоголовый,
Нахохлившись, сидит перед огнем.

По радио всю ночь бюро погоды
Предупреждает, что кругом шторма, —
Пускай в портах швартуют пароходы
И запирают накрепко дома.

В разрядах молний слышимость все глуше,
И вдруг из тыщевеерстной темноты
Предсмертный крик: «Спасите наши души!»
И градусы примерной широты.

В шкафу висят забытые одежды —
Комбинезоны, спальные мешки...
Он никогда бы не подумал прежде,
Что могут так заржаветь все крючки...

Как трудно их застегивать с отвычки!
Дождь бьет по стеклам мокрою листвою.
В резиновый карман — табак и спички,
Револьвер — в задний, компас — в боковой.

Уже с огнем забегали по дому,
Но, заревев и прыгнув из ворот,
Машина по пути к аэродрому
Давно ушла за первый поворот.

В лесу дубы под молнией, как свечи,
Над головой сгибаются, треща,
И дождь, ломаясь на лету о плечи,
Стекает в черный капюшон плаща.

Под осень, накануне ледостава,
Рыбачий бот, уйдя на промысла,
Найдет кусок его бессмертной славы —
Обломок обгоревшего крыла.

1939

